

Осенью 2009 года в издательстве “Молодая гвардия” выходит книга молодого, но уже получившего широкое признание писателя Захара Прилепина о Леониде Леонове. Редакция публикует главы из неё.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ИГРА ЕГО БЫЛА ОГРОМНА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

1. Верховный Совет

Когда говорят о Леонове как о патриархе советской литературы и тем более о “литературном генерале” советской эпохи, – то отсчёт, по строгому счёту, нужно вести с 1946 года, не раньше.

Именно в этом году начинается взлёт его карьеры общественной – вовсе, скажем наперёд, не застраховавшей его от нескольких серьёзных неприятностей, связанных с литературным трудом.

О том, что кандидатура Леонова рассматривается в качестве кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, он узнал ещё в 1945-м и дал согласие.

Надо понимать, что значило это депутатство.

В Верховный Совет первого, 1938-го года созыва (полномочия которого, вместо четырёх положенных лет, ввиду начавшейся войны, были продлены до 1945-го), были избраны несколько литераторов, но в качестве главных лиц выступали двое из них: Алексей Толстой и Михаил Шолохов. Именно их снимки пестрили на страницах газет, именно на них власть делала ставку, прославляя два этих имени накануне выборов. Толстой и Шолохов работали как тягловая сила, тащившая за собой весь остальной список. Так Верховный Совет стал своеобразным табелем о рангах.

Кроме вышеназванных в 1938-м были избраны Владимир Ставский – по очевидным причинам как главный литературный чиновник; дагестанский поэт Сулейман Стальский – в подтверждение статуса СССР как многонациональной державы; Александр Корнейчук – приближённый к Сталину драматург, писавший пьесы по его личному указанию, и несколько тому подобных персон.

После смерти Алексея Толстого в феврале 1945 года новым “главным писателем земли Советской” становился Леонид Леонов.

Пресловутые “выборы” в Верховный Совет, безусловно, являлись полностью срежессированным действием, однако власть стремилась к тому, чтобы в глазах советских людей происходящее было максимально легитимным. В первый послевоенный год в Совет должен был прийти литератор именно что народный, общепризнанный. После “Нашествия”, “Взятия Великошумска”

и десятков яростных публицистических статей, прочитанных миллионами, таковым был Леонов.

Признаем, что к тому времени ни Валентин Катаев, ни Всеволод Иванов, ни Константин Федин подобным авторитетом не обладали.

Все крупнейшие газеты СССР в первых числах января 1946 года сообщают, что Сталинский избирательный округ города Москвы выдвинул кандидатом в депутаты Иосифа Виссарионовича Сталина. Следом идут от своих округов: Калинин, Ворошилов, Андреев, Хрущев и т.д., всего 11 человек.

Сразу следом за вождями шли “инженеры человеческих душ”.

В частности, в газете “Правда” от 4 января сообщалось: “Коллектив Загорского учительского института выдвинул кандидатом в депутаты Совета Союза Леонида Максимовича Леонова”.

Информация о Леонове расположена в самом верху и посередине полосы. Слева от него – Лаврентий Берия, справа – Георгий Маленков. Далее “Правда” пишет: “Студенты, профессора и преподаватели Загорского учительского института собрались 3 января в зале Городского театра на предвыборное собрание, посвящённое выдвижению кандидата в депутаты Верховного Совета СССР”.

С речью на этом собрании выступил декан историко-филологического факультета Сахаров, который после ритуальных приветствий предложил выдвинуть кандидатом в депутаты героя нашей книги.

Характерно, что, перечисляя произведения Леонова, тов. Сахаров, естественно, не упомянул, что кандидат в своё время написал, скажем, роман “Вор”, а затем пьесу “Метель”.

“Пламенной любовью к родине и острой ненавистью к фашистским извергам проникнуты талантливые статьи Л. Леонова, публиковавшиеся в дни войны и теперь, в послевоенный период, – сообщает советская пресса. – Ордена Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, которыми советское правительство наградило Леонова, – свидетельство высокой оценки его творческой работы”.

Сахарова поддержали и проголосовали единогласно.

В “Литературной газете” заметка о выдвижении Леонова, вопреки алфавиту, идёт под известием о выдвижении Михаила Шолохова (от, естественно, станицы Вешенской Миллеровского избирательного округа). Но также в своё время Шолохов, по табели о рангах, шёл после Алексея Толстого.

Внизу, под информацией о Леонове, в советских газетах размещалось, как правило, известие о выдвижении в Совет украинского поэта Павла Тычины. Это, надо понимать, вновь напоминало советским людям, что они живут в многонациональной семье народов.

Место Владимира Ставского занимал Николай Тихонов, с которым Леонов в далёком 1930-м ездил в Среднюю Азию. Теперь Тихонов – Председатель правления Союза советских писателей, литературный чиновник высшего ранга.

Помимо вышеназванных в Верховный Совет избирались всё тот же Корнейчук, Бажов, Панфёров, Фадеев, который оказался по статусу ниже Леонова, – вполне возможно, потому, что как писатель давно уже не воспринимался – со времён “Разгрома” он не выпустил ни одной завершенной вещи.

Однако только о Леонове и Шолохове вышли в “Правде” огромные в полполосы материалы: “Писатель-патриот” – о первом и “В станице Вешенской” – о втором. Статья о Леонове была опубликована в номере от 12 января, автор её, писатель Сергей Бородин, писал: “Национальная гордость великоросса сливается в творчестве Леонида Леонова с гордостью за весь советский многонациональный народ”.

Характерная для тех времён фраза! Не мешает к тому же помнить, что написал её автор глубоко патриотических книг о русской истории, и потомственный дворянин – до 1941 года дворянства своего опасавшийся и публиковавшийся под псевдонимом Амир Саргиджан. (Он, добавим, вступил во Всероссийский союз писателей в 1925 году по рекомендации Андрея Белого, Всеволода Иванова и Леонида Леонова.)

16, 17 января – в Загорске, а 18-го – в Пушкино прошли предвыборные встречи Леонова.

Отчёты о собраниях пестрят словами, истёртыми и патетичными, но есть основания предполагать, что когда девушка-комсомолка вышла и пред всем залом сказала Леонову, что “в нашем воспитании есть и ваша доля, Леонид Максимович”, она вовсе не лукавила.

Несколько лет спустя в газете “Литературная Россия” будет опубликовано письмо некоего О. Копытко, военного, который, безо всякой привязки к юбилеям и прочим празднествам, неожиданно признается: “Одним из любимых писателей, на книгах которого воспитывалось моё поколение, был Леонид Леонов. Когда грянула война, мы, семнадцатилетние парни, учились по Леонову ненавидеть врага. “Наша Москва”, “Ярость”, “Примечание к параграфу” рождали священную ненависть к врагу. И сейчас помню грозную фразу писателя: “В триста миллионов рук мы дотянемся до тебя, Адольф Гитлер”. Мы знали, что дотянемся. Не помню, как попала к нам в землянку маленькая книжка с пьесой “Нашествие”, но помню суровое, грозное молчание солдат, рождение жгучего желания мстить...”

В течение многих лет подобных писем приходило и к Леонову, и в газеты множество.

10 февраля 1946 года он был избран депутатом Верховного Совета СССР второго созыва.

Наградной список Леонова, по-видимому, показался писательской организации не столь пышным, как следовало бы. Общий тираж книг Леонова, как писали газеты, составлял к тому моменту 1 973 400 тысяч экземпляров, и при этом всего одна Сталинская премия и два ордена... У многих литераторов, куда меньшего ранга, к тому же более молодых, скажем, у Симонова и Корнейчука, Сталинских премий уже было по три.

В итоге 16 февраля 1946 года первому заместителю председателя Совета Народных Комиссаров товарищу Молотову В. В. на стол ложится бумага от Председателя правления Союза писателей Н. Тихонова и секретаря правления Д. Поликарпова.

В послании сообщается: “В феврале исполнилось 25-летие литературной деятельности известного русского писателя Леонида Максимовича Леонова.

Литературной деятельностью Л. М. Леонов занимается с февраля 1921 года. Первые его произведения были напечатаны в газете 15-й Сивашской Краснознамённой дивизии”.

В данном случае имеет место некоторый подлог.

Напомним, что первые заметки Леонова были опубликованы в 1913-м, в июле 1915 года – первое стихотворение, и, наконец, в 1918 году Леонов проявил себя как ярый антисоветский публицист. Хорошо, что никому не пришло в голову отметить 20-летие творческой деятельности Леонова в 1938 году, с приложением необходимых публикаций.

Далее Тихонов и Поликарпов перечисляют книги Леонова (привычно забывая “Вор”, “Необыкновенные рассказы о мужиках”, “Метель” и прочее), поминают его военную публицистику, между делом отмечают, что “творчество Л. М. Леонова высоко ценит А. М. Горький”, и в финале ходатайствуют о награждении писателя орденом Ленина.

Спустя два дня Молотов, который в своё время подписывал разгромное постановление о “Метели”, начертает на письме свою резолюцию: “Т. Сталину. Прошу утвердить”.

В тот же день товарищ Сталин утвердил ходатайство.

В феврале Леонов получил орден Ленина, а в марте на радостях начал работать сразу и над пьесой “Золотая карета”, и над завершением “Пирамиды”, которая тогда называлась “Ангел”.

В который раз уже Леонову казалось, что вот теперь-то его, орденосца и депутата, никто не тронет.

2. Две пьесы

Первый вариант “Золотой кареты” назывался “Градоправительница” и был завершён ещё в июне 1946-го.

Судьба этой пьесы оказалась напрямую связана с постановкой “Лёнушки”.

Столичная премьера “Лёнушки” состоялась 15 июля 1946 года в Московском театре драмы.

Вопреки обыкновению (и, верно, ожиданиям Леонова) никаких откликов на постановку не было. Буквально ни одного.

“Лёнушка”, на наш взгляд, является не только самой слабой пьесой Леонова, но, пожалуй, самой неудачной его литературной работой вообще. На-

думанная, с вопиюще нереальными коллизиями и даже для эпического текста совершенно неживым и патетичным языком, вещь эта не удалась; именно поэтому в течение трёх лет ни один центральный театр не брал её — несмотря на триумф “Нашествия”.

Проблема, однако ж, была ещё и в том, что поставили “Лёнушку” в откровенно смутное время — накануне августовского постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) “О журналах “Звезда” и “Ленинград”.

Как мы помним, это постановление коснулось в первую очередь выше-названных журналов и двух публикуемых там авторов: Михаила Зощенко и Анны Ахматовой.

Но вслед за постановлением началась массовая, по страницам столичной и местной прессы, проработка иных изданий, допустивших идеологические ошибки; а также строгий, с пристрастием разбор ряда театральных постановок и кинолент.

Осенью дошла речь до Леонова. 15 октября на него обрушилась “Комсомольская правда”. Это конечно же не было равносильно постановлению ЦК, но риторика звучала примерно та же.

Леонов уже пережил в связи с “Метелью” одно постановление ЦК и травлю, никак не меньшую, чем пришлось на долю Зощенко и Ахматовой (о чём впоследствии наше литературоведение предпочло забыть), а тут его снова буквально вписали в сообщники Зощенко и Ахматовой.

“Мы считали до сих пор, что партизанский командир — это человек несгибаемой воли, острого, пронизательного ума, умеющий быть непререкаемым авторитетом для тех, кого он ведёт”, — пишут авторы статьи В. Городинский и Я. Варшавский об одном из главных героев пьесы — командире Похлёбкине. По их мнению, “Похлёбкин не обладает ни одним из этих качеств. Это болтун, неумный, непрестанно ошибающийся человек, явно истерический, даже одержимый”.

“Не менее нелепой фигурой является и инструктор райкома партии Полина Акимовна Травина, — продолжают авторы. — Она представляет партийное руководство в отряде и делает это как нельзя плохо <...> Она, по воле автора, говорит настолько бедным и дубовым языком, что один из персонажей, в конце концов, резонно спрашивает её: “Да есть что-нибудь, окромя партбилета, в каменной груди твоей, хозяйка?”

И далее: “В пьесе “Лёнушка” Леонов явно соскальзывает на свою прежнюю, казалось бы, давно позабытую и осуждённую им самим, стезю. Образы “Волка”, “Половчанских садов”, “Метели” не раз возникали в нашей памяти, когда мы читали пьесу. И здесь снуют притаившиеся кулаки, и здесь злейшему врагу предоставлена трибуна для своего рода “принципиальных высказываний”.

Изменник Степан Дракин, бывший кулак, перед партизанским судом дерзко издевается над своими судьями, но они ничего не могут сказать в ответ ему. Перед лицом смерти немецкий наёмник говорит Похлёбкину: “Ты человек молодой, Василь Васильч. Дай тебе Господь при полном коммунизме сон такой радостный увидеть, как бы мой сын жил...” Выслушав его, Травина не находит ничего другого, как, покачав головой, сказать присутствующим: “Слышали? Запоминайте... в ком ещё сомнение осталось!” Зачем надо запоминать злобную речь врага — остаётся неизвестным.

Во имя чего Леонов изображает советских людей какой-то бесформенной, тёмной массой?”

Сравните с Постановлением ЦК: “Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами”.

Чтобы у читателей “Комсомольской правды” не осталось сомнений, к чему авторы ведут речь, они прямо пишут, что в речи “Похлёбкина явственно слышатся интонации персонажей Зощенко, глумившегося над языком советского человека. Отвратительный жаргон Похлёбкина выдаётся за речь руководителя крестьян, при этом — в час народного горя. Этот Похлёбкин, выдуманый Леоновым, выглядит карикатурой”.

Волна, поднятая публикацией в “Комсомольской правде”, могла повлечь за собой, как и в прежние времена, десятки подобных статей и прочие круп-

ные неприятности. Ни наличие орденов, ни прочие заслуги Леонова могли и не спасти — как не спасли они Михаила Зоценко, вскоре исключённого из Союза писателей.

Но за Леонова неожиданно резко, и, как мы помним, во второй раз, вступился Константин Симонов в газете “Правда” уже спустя два дня — 17 октября.

Вполне возможно, это было его собственной инициативой: Симонову были свойственны мужественные жесты — именно он, кстати говоря, в качестве редактора “Нового мира” первым решился опубликовать подвергнутого обструкции Михаила Зоценко.

“... Не будем разбираться в объективных и субъективных причинах, которые заставили В. Городинского и Я. Варшавского так долго — целых три года — вынашивать в себе этот, так сказать, критический крик души, — пишет Симонов. — Один кричит тогда, когда ему хочется кричать, другой кричит тогда, когда ему кажется, что, наконец, можно на кого-то накричать”.

“Какие бы недостатки ни были в этой пьесе Леонова, — завершает свою статью Симонов, — но в ней есть большая душа, большая боль за Родину и народ”.

Несмотря на заступничество Симонова, нехороший звонок уже прозвучал, и руководство Малого театра, куда Леонов сосватал свою “Золотую карету”, неожиданно прекращает работу над спектаклем.

На то были две причины.

Во-первых, атмосфера и этой пьесы, если пользоваться терминологией Городинского и Варшавского, была “сумрачная и гнетущая”. Не ко времени пьеса с такой атмосферой, не ко времени; в театре это понимали.

Во-вторых, до Леонова, через вторые, если не третьи руки донесли слова Жданова: “Пусть Леонов только попробует поставить свою пьесу!” Жданов был внимательный читатель, этого не отнимешь у него.

Леонов, заметим ради справедливости, в это время вовсе не теряет в своём статусе, и даже напротив. В октябре его выбирают председателем правления Литфонда, тогда же он введён в состав Комитета по делам искусств. В ноябре в том же Малом театре создан Литературно-репертуарный совет под председательством Леонова — но при всём этом именно свою пьесу председатель Совета “разрешить” не в состоянии!

Что ж это за пьеса была?

* * *

Действие лучшей, на наш взгляд, леоновской драматической работы “Золотая карета” происходит в течение суток в маленьком городке сразу после войны.

Сам Леонов позже в интервью журналу “Театр” так вкратце подавал сюжет своего сочинения: “Где-то за пределами пьесы, двадцать шесть лет назад, молодой бедный учитель Кареев полюбил хорошую девушку, Машеньку Порошину, дочь важного и сердитого чиновника с седыми бакенбардами, и был отвергнут. Незадачливому жениху было сказано в запале, что за такой невестой следует приезжать в золотой карете... Гонимый обидой, Кареев ушёл тогда из города, чтобы к началу пьесы, в первом акте, вернуться известным учёным, академиком Кареевым. Он приезжает со своим взрослым и холостым сыном Юлием; последнему, по ходу пьесы, пригласится Марька, дочь прежней Машеньки Порошиной, ставшей ныне председателем горсовета Марией Сергеевной Щелкановой, всеми уважаемой и любимой “городничихой” <...>.

Вырос сын и у друга юности Кареева, Непряхина, директора убогой местной гостиницы. Это — Тимоша; до войны — талантливый астроном, теперь — демобилизованный танкист, потерявший зрение на фронте. Тимоша — сверстник Марьки, товарищ её детства. Он горячо её любит, и Марьке предстоит сделать выбор между приехавшим из столицы “в золотой карете” сыном академика и другом детства.

В первой редакции пьесы Марька предпочитает ослепшего танкиста сыну академика, юристу Юлию (которого в первой редакции зовут Яков).

Понять её, наверное, можно: город Марьки живёт в вопиющей нищете, на детали этой нищеты Леонов не скупится, и ничего хорошего в такой разрухе девушку не ждёт.

Отдельной строкой стоит упомянуть отца Марьки – дезертира Чирканова (впоследствии Леонов переименовал его в Щелканова). Он возглавляет местное предприятие по изготовлению спичек. Выпускает брак: спички не горят. Моральный портрет его довершает желание сбежать из семьи с любовницей по фамилии Табун-Турковская.

Сам Чирканов в пьесе не появляется, но омерзение от этого мелкого советского начальника возможно почувствовать и на расстоянии.

В центре сюжета первой редакции пьесы был полковник Берёзкин. Он-то как раз и приехал, чтобы наказать Чирканова, умышленно сломавшего себе на фронте два ребра, чтобы его комиссовали.

В числе прочего, Берёзкин хочет открыть глаза жене (градоначальнице Марии Сергеевне) и дочери (Марьке), рассказав правду о Чирканове.

Но в финале Берёзкин раздумывает.

Это очень важный момент.

Люстрация (то есть очищение путём жертвоприношений) по семейным, наследственным признакам – один из сквозных моментов во всех сочинениях Леонова.

Собственная судьба его, по сути, – бывшего белогвардейца, судьба его отца – в годы Гражданской возглавлявшего Общество помощи воинам Северного фронта, а потом ставшего советским ээком, – всё это заставляло Леонова раз за разом возвращаться к мысли: насколько дети ответственны за деяния родителей.

Мотив этот есть в “Скутаревском”, в “Дороге на Океан”, в “Волке”, в “Метели”, в “Нашествии”, во многих иных вещах. Отец против сына, брат против брата, жена против мужа, дочь против отца и так далее до бесконечности. Не говоря о череде “бывших” в текстах Леонова – губернаторов, судей, купцов, провокаторов, каждый из которых несёт на хребте неподъёмный крест своей собственной прошлой жизни.

Всякий раз тему люстрации Леонов разрешает по-новому; но в целом картина мира, рисуемая им, остаётся чудовищной и неприглядной. В “Дороге на Океан” брат доносит на брата (и впоследствии доносчик, вроде бы и без связи с самим фактом доноса, лишён собственного человеческого счастья). Схожая коллизия в “Метели”. В “Нашествии” мать чурается меченого тюремной сына, и восклицает, что “он наш”, “он с нами” – то есть он вернулся в семью, – только когда сын, убиенный фашистами, висит на виселице.

В мире Леонова жить страшно.

И вот в “Золотой карете”, едва ли не впервые, не совершается немедленное наказание и развенчание зла.

Берёзкин ничего не говорит жене и дочери негодяя Чирканова. И даже не сдаёт “куда надо” самого Чирканова, – хотя с самой войны хранит письмо, которое может жёстко скомпрометировать нынешнего советского провинциального руководителя.

Несмотря на это, никакой истовой веры в будущее по прочтении пьесы всё равно не складывается.

Марька уезжает, и мать её, прозевавшая в юности свою “золотую карету”, вослед дочери, в полном одиночестве, поднимает бокал: “... За горы высокие, девочка!”

Нет никаких сил поверить в эти “высокие горы”, когда оставляется первая любовь, – тот самый бывший танкист Тимоша, – ослепший, Боже мой, астроном – влюблённый в звёзды, которых он никогда не увидит.

Причём и какого-либо понятного выхода из сложившейся ситуации тоже нет! И это очередная примета Леонова: на какой бы высокой ноте он ни заканчивал свои сочинения, всем существом чувствуешь, что там, дальше не лучше – шагни вперёд, и тебя сразу окружит вязкая неприятная тьма.

3. “Сложный путь”

Стараясь сделать своё положение всё более прочным, Леонов, тем не менее, соглашался не на все предложения.

Весной 1947 года к нему обратился режиссёр Михаил Чиаурели. Поначалу он работал в Госкинопроме Грузии, затем перебрался в Москву. В 1946-м

Чиаурели поставил “Клятву” — фильм о Сталине, понравившийся вождю, получивший и Государственную премию СССР, и Золотую медаль на МКФ в Венеции.

Чиаурели сообщил, что есть идея создать специальную студию для создания серии эпических фильмов по истории России.

— “Сам” считает, что ты должен стать во главе, — сказал он чуть ли не шёпотом. — Нет, нет, ты не будешь писать. Ты будешь только возглавлять. Четыре машины дадут тебе — и всё необходимое.

— Миша, ты мне друг? — спросил Леонов. — Да? Тогда отговори его как-нибудь, чтобы я не пострадал.

Однако в состав художественного совета при Министерстве кинематографии Леонов в апреле 47-го всё-таки был введён.

В том же году Леонов входит в состав секретариата правления Союза советских писателей, а в декабре избирается ещё и депутатом Моссовета.

Но на судьбу его произведений это по-прежнему никак не влияло.

Ни одна пьеса, кроме “Нашествия”, не шла. К декабрю 46-го Леонов сделал четвёртую редакцию “Золотой кареты”, и её всё равно не приняли к постановке. Пьеса вышла гектографическим изданием в несколько десятков экземпляров. В ближайшее десятилетие её никто не увидит и не прочтёт. Не будут её ни ставить, ни издавать.

Вот тебе и дважды депутат, и орденосеиц.

В те годы он как-то жалуется своему соседу по Переделкино Корнею Чуковскому, что “не может написать и десятой доли того, что хотелось бы”. Чуковский запишет эту фразу в дневнике.

“А вы думаете, — спросил Леонов у Чуковского, — почему я столько души вкладываю в теплицу, в зажигалки?..”

Леонов, поясним, давно уже занимался разведением редких растений. И чтобы руки занять — делал зажигалки, самой разной формы, изящные и надёжные.

“... Это торможение, — пояснил Леонов Чуковскому. — Теплицы — этой мой роман, зажигалка — рассказ”.

Леонов снова замолчит — почти на три года. Несколько статей в 47-м, несколько в 48-м, несколько в 49-м. В докладной записке агитпропа ЦК М. А. Суслову “О недостатках в работе коммунистов сектора искусств” от 08.01.1949 говорилось, что Леонов самоустранился от драматургической работы... А что они хотели?

Внутренне он, наверное, матерился — он умел. “По кой... чёрт я всем этим депутатством занимаюсь тогда, если мне писать всё равно не дают?!”

Все эти годы он понемногу возводил свою “Пирамиду”, вернее, пока ещё “Ангела”. Писал карандашом, не призывая в помощницы машинистку, чтобы не плодить компромата на самого себя... а уж его “микробий” почерк вряд ли бы кто разобрал, даже если б захотел.

Новые книги у него, надо признать, выходят. Но состав вошедших в них текстов строго ограничен. “Избранное”, несколько раз переизданное, включает повести “Саранчуки” и “Взятие Великошумска”, роман “Соть”, пьесы “Нашествие” и “Лёнушка”, пять публицистических статей. Ещё отдельным изданием выходят “Барсуки”. А другие сочинения негласно к публикации не допускаются.

Не ко двору, не ко времени. И это обидно, и хочется как-то исправить ситуацию.

Летом 48-го Леонов возьмётся за переработку “Дороги на Океан”, потратит два месяца и бросит работу. Затем решится переделать “Унтиловск”, просидит месяц и снова бросит. Это ж как самого себя в мисорубке проворачивать. Невесёлое занятие: сквозь железное сито просеивать каждое живое слово.

Причём внешне всё по-прежнему выглядит более чем благопристойно.

В январе 48-го Леонов — в Киеве на торжествах в связи с 30-летием Украинской ССР.

В феврале, 5-го числа, выступает на вечере в ЦДЛ, посвящённом 75-летию Михаила Пришвина, — который Леонова, признаться, никогда особенно не любил.

В марте, 10-го, отбывает в Венгрию на празднование 100-летия венгерской революции и проведёт там четыре дня, в компании, кстати, с Климом Ворошиловым.

Пишет по этому поводу обстоятельную статью “Венгерская весна” для “Правды”, вышедшую 31-го марта: “Особое сердцебиение возникает в нас всякий раз на народных демонстрациях, когда массы осознают свою силу, собственным локтем чувствуют слитность своего порыва, сами видят грозную стройность своих рядов. Две таких демонстрации в Будапеште мы простояли до самого конца. Вечером четырнадцатого марта состоялось факельное шествие к Национальному музею. Гремели духовые оркестры, и несчитанные сонмы испуганных будапештских воробьёв шумно перекочёвывали с дерева на дерево по мере приближения звуковой лавины.

<...>

В день отъезда, по приглашению президента Республики, мы отправились на Балатон. Нам и самим очень хотелось взглянуть на знаменитые места, которые ещё Людendorф считал самым опасным протоком к сердцу империи и где впоследствии Толбухин смолот и расшвырял правый фланг германской обороны... Сперва шёл дождичек, такой нужный в это время, но потом погода разветрилась, и розовато окрасились дали. Тотчас за Секешфехерваром нам попался по дороге обычный крестьянский базар. Там в рядах стояло множество сытых коров, выведенных на продажу. Мы вылезли из машин, и тотчас нас окружила толпа крестьян, простых мадьярских мужиков, очень похожих на наших – с Полтавщины либо с Черниговщины. Они узнали президента, узнали Ворошилова, узнали Ракоши (*Генеральный секретарь Венгерской коммунистической партии – З. П.*), сопровождавшего нас в поездке. Какое-то дружное, несдержанное душевное движение произошло среди этих людей, и вдруг одна могучая, ещё довольно свежая старуха вытащила из-за пазухи заветный мешочек на шнурке, что у нас называется гайтаном, извлекла из него билет Коммунистической партии Венгрии и показала его Ракоши”.

Такие вот впечатления описал Леонид Максимович, не знаем уж, что там на самом деле происходило в стране, ещё недавно бывшей союзницей Гитлера.

Летом Леонов едет в Польшу, во Вроцлав, на конгресс деятелей культуры в защиту мира.

Осенью активно участвует в праздновании 50-летия МХАТа – того самого, где были сняты и похоронены две его пьесы.

Зимой он опять на Украине, на этот раз на съезде писателей.

В 49-м дважды съездит в Болгарию, затем в Финляндию и примет участие в торжествах, связанных со 125-летием Малого театра, – в который так и не въехала “Золотая карета”.

Власть не оставит без внимания леоновский юбилей: в мае ему исполнится 50.

1 июня 1949 года “Литературная газета” выйдет с поздравлением на первой полосе: “Дорогой Леонид Максимович! Нам хорошо виден ваш большой и сложный творческий путь...”

Не только “большой”, но и “сложный” – неслучайное слово. И – “нам хорошо виден”. Вроде как в сказке: высоко сижу, далеко гляжу. Хорошо вижу, как вы тут сложно петляете, дорогой юбиляр. Всё запутать нас хотите.

Подписались: Фадеев, Симонов, Тихонов, Вишневский, Федин, Эренбург... И Эренбург, и Вишневский юбиляра недолюбливали; с Фединым тоже были сложные отношения – в личном дневнике он писал о друге Лёне хорошо, в разговорах сплошь и рядом отзывался... несколько иначе. Зато Фадеев, в более поздней публицистике своей, неожиданно – и, верится, вполне искренне назвал Леонова в числе своих учителей.

Чуть раньше пройдут два вечера, посвящённых Леонову.

Первый, 16 мая, проведёт Всероссийское театральное общество и Центральный дом работников искусств, – он будет посвящён драматургии Леонова. Вёл вечер главный режиссёр Московского театра Революции, популярный киноактёр Николай Охлопков. Артисты театра им. Моссовета и Московского государственного театра сыграли фрагменты из “Нашествия” и “Обыкновенного человека”.

31 мая состоится вечер уже в Центральном доме литераторов. Откроет его как глава Союза писателей Николай Тихонов. Доклад о леоновском творчестве прочтёт критик Евгений Сурков. Приветственные речи произнесут Борис Горбатов, Владимир Ермилов, Самуил Маршак, Иван Соколов-Микитов... От МХАТа выступит Пётр Марков – вот он-то действительно Леонова любил. Будут

представители от Малого театра и Московского театра драмы. Артисты прочтут со сцены несколько фрагментов из прозы Леонова... Всё как полагается.

Сохранилось фото с того вечера: Леонов, в изящном пиджаке, серьёзный, красивый, без единого седого волоса; на столе перед ним – букет сирени. Рядом за столиком Александр Чаковский, Лев Соболев, Александр Жаров, Константин Федин...

Осенью Леонову присвоят звание “Заслуженный деятель искусств РСФСР”. “Избранное”, правда, опять выйдет в маловарьированном прежнем составе.

Здесь иной читатель, памятуя о судьбе Зощенко или Платонова, может вспомнить поговорку, что, мол, у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий; и отчасти замечание покажется верным, по крайней мере, если брать в расчёт именно 1949 год. Потому что в предыдущие годы Леонова прорабатывали и трепали немногим меньше, чем вышеназванных.

Но мы о другом хотели сказать. После войны появилось уже новое поколение читателей, для которых Леонов как общественный деятель становился известен всё более и более, однако образ его как литератора постепенно оказался существенно усечённым. В прокрустово ложе соцреализма не помещалась подавляющая часть написанного им – и всё это осталось за пределами читательского внимания. Так, вместо разнообразного, свободного, страшного, упрямого, себе на уме Леонова появлялся Леонов монументальный, орденосный, однозначный.

ЛЕОНОВ И ШОЛОХОВ

Свою литературную работу Леонов и Шолохов начали почти одновременно, и даже работали первые годы в одинаковом темпе.

Первая серьёзная публикация Леонова – в 1922 году, Шолохова – в 24-м.

К 1932 году оба написали по пять томов произведений. Шолохов – “Донские рассказы” (которые, как и ранняя, малая проза Леонова долго потом не переиздавались), три книги “Тихого Дона” и первый том “Поднятой целины”. У Леонова свой том повестей и рассказов, “Барсуки”, “Вор”, “Соть”, “Скутаревский”.

Но, как мы помним, “Барсуки” вышли на два года раньше первого тома “Тихого Дона”, и в леоновском романе есть места, которые убеждают нас в том, что Шолохов тогда прочёл его очень внимательно.

Леонов, как и чуть позже Шолохов, делает главным героем не большевика, а мятущегося, сильного, страстного человека, которого то течение подхватывает, то он сам поперёк теченья идёт, без видимого смысла, от одной душевной неизбывной муки.

Созвучны любовные коллизии в “Барсуках” и “Тихом Доне”. Леонов, а затем Шолохов, без прикрас дают дикие взаимоотношения меж мужчиной и женщиной, рождённых и живущих “на земле”, в сельских местах, не важно, на деревне или на хуторе.

Когда Леонов описывает, как Егор Брыкин бил изменившую ему жену Анну, он даёт замечательно точную психологическую ремарку: “...сидела в нём уверенность, что наложением рук на повинную голову как бы прощает он Анну и отпускает ей многие её грехи. Анна приняла побои молча, лежала так, словно не хотела видеть себя возле суетившегося чуть не до обморока мужа”.

В этом леоновском абзаце уже заложен рисунок тех событий, что случаются у Аксиньи и Степана Астахова на страницах “Тихого Дона”. И в будто безучастной реакции Анны угадывается будущая, презирующая мужа Аксинья, и в поведении Брыкина, желающего вернуть свою женщину после собственного зверского к ней отношения, видится Степан.

Описанная Леоновым “барсучья” жизнь людей, ушедших из-под новой власти и не пришедших ни к какой, тоже содержит прообраз будущих мытарств Григория Мелехова, а именно – его жизни на острове в банде Фомина (четвёртая книга “Тихого Дона”).

Сравните саму атмосферу. Вот Леонов:

“Опята заступила место тишина, земляная, самая тихая.

– Эха, бычатинок бы, – вздохнул Петья Ад, сидевший с вытянутыми ногами на полу, и коротко зевнул. – Пострелять бы... долгоухого видал даве.

– Из пальца не выстрелишь... – осадил и этого Гарасим, – а патронов я тебе не дам.

Опять потекли минуты скучного, зевотного молчания”.

А вот Шолохов:

“Фомин и его соратники каждый по-своему убивали время: хозяйственный Стерлядников, примостив поудобнее хроющую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь, тщательно чистил оружие; Капарин, которому не впрок пошли ночевки на сырой земле, целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полушубком, глухо покашливая; Фомин и Чумаков без устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты; Григорий бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между собой – все было давно переговорено, – и собирались вместе только во время еды да вечерами, ожидая, когда приедет брат Фомина. Скука одолевала их...”

Характерно, что и у Леонова, и у Шолохова со скуки окопавшиеся “повстанцы” начинают петь. Только у Шолохова от песни на минуту развеселятся, и затем снова впадут в скуку, а у Леонова один из героев сразу скажет пытающемуся играть на гармонии: “Брось ты... нехорошо у тебя выходит”.

Но самое главное, что ни Леонов, ни Шолохов, описав кровавое, беспутное, страшное брожение народа, так и не дают к финалу осознать читателю, кто тут является носителем хоть какой-нибудь, но правды.

И финал обоих романов тоже рифмуется: герои “Барсуков” смотрят на ночной месяц, а Григорий Мелехов на ледяное солнце.

При желании можно говорить о некотором сходстве тематики, опубликованной в 1930 году в “Соти” и появившегося спустя два года первого тома “Поднятой целины”. Или о стилистическом созвучии “Взятия Великошумска” и романа “Они сражались за Родину”.

Но, как нам кажется, эти сравнения не имеют под собой столь основательной почвы. С середины 20-х писатели идут слишком разными путями.

По нашему мнению, Шолохов был пожизненно связан с Донской землёю, и это одно из самых внятных объяснений, почему в конце жизни он замолчал. Замолчал потому, что описал все трагедии, случившееся на той земле, где жил он: уход казаков на Первую мировую, затем Гражданскую войну, коллективизацию, Отечественную. А после того “Тихого Дона”, что взрастил Шолохова, уже не стало. О чём же ещё писать?

В этом смысле для Леонова подобных ограничений не было: своих героев он мог поместить в любой раствор, в любую среду, в любую природу.

* * *

Если в середине 20-х по литературному статусу и известности Леонов превосходил Шолохова, то в конце 20-х – самом начале 30-х в глазах читающей публики, критики и даже власти они сравнялись.

В 1931 году писатели однажды виделись у Горького именно в таком составе: Алексей Максимович, Иосиф Виссарионович, несколько человек из ближайшего окружения Сталина, Шолохов, Леонов.

Как две главные величины молодой советской литературы, воспринимались они тогда не только внутри страны, но и за её пределами. Георгий Адамович ставил Леонова выше Шолохова. О том же в 1928 году писал замечательный писатель и публицист Константин Чхеидзе в пражской газете “Казачий сполох”, утверждая, что “из современных Шолохову советских писателей превосходит его Леонид Леонов”, – при том, что, по мнению Чхеидзе, уступает Шолохову даже Максим Горький.

Но уже к середине 30-х Леонов в разговорах серчал и жаловался: “Что бы я ни написал – всё равно критика скажет, что Шолохов и Фадеев лучше!”

Так и было.

Два ещё не оконченных романа Шолохова воспринимались как символы величия молодой страны Советов; он был предметом национальной гордости, наряду с Челюкинцами и лётчиком Чкаловым. Леонова после публикации романа “Скутаревский” подобным образом никто не воспринимал. В то время, как ладный и красивый Шолохов смотрел со страниц правительственной прессы, Леонов в течение чуть ли не десятилетия видел карикатуры на себя.

Леонид Максимович потом ещё долго сердился на Шолохова, говоря знакомым и в 60-е годы, и в 70-е, что, де, когда его критики топтали, а ЦК выписывал постановления о клеветнической пьесе “Метель”, достопочтимый Михаил Александрович на охоту ездил.

Вполне такое могло быть. А что должен был Шолохов предпринять?

Тем более, что ситуацию эту Леонов видел ретроспективно, из того времени, когда они оба стали патриархами Советской литературы и когда их фамилии в литературных святцах начали перечислять через запятую.

Но взаимоотношения их – они хорошо рифмуются со взаимоотношениями Толстого и Достоевского, так же не нашедших за несколько десятилетий времени всерьёз поговорить.

Шолохов и Леонов, продолжавшие: первый – толстовскую линию, второй – с оговорками и даже полемикой – достоевскую, – виделись считанное количество раз.

Едва ли Толстой и Достоевский, найди они время с 50-х до 80-х годов XIX века, выслушать и понять друг друга, смогли бы хоть что-то изменить в том, что предстояло пережить России. Равно как и совместное выступление Шолохова и Леонова в тот же промежуток времени, спустя сто лет, не остановило б грядущего. Однако даже возможность самого факта их общения или спора чем-то зачаровывает иного человека, любящего русскую литературу.

Леонов обмолвился как-то, что столкнулся с Шолоховым в Кремлёвской больнице, где оба подлечивались.

Разговор в пересказе Леонова длился меньше полминуты:

– Здравствуй! – сказал один.

– Здравствуй! – сказал второй.

– Как живешь? – сказал один.

– Хорошо, – ответил второй. – Тебе пишется?

– С трудом, – сказал один.

– Мне тоже. С невероятным трудом, – ответил второй.

На том и расстались. И даже неважно, кому именно принадлежат в этом диалоге реплики.

Леонов утверждал, что никогда и не разговаривал с Шолоховым более минуты.

Сохранилось, тем не менее, никем ни подтверждённое свидетельство одного польского переводчика, видевшего Леонова и Шолохова в августе 1948 года в польском городе Вроцлав, на конгрессе советской делегации в защиту мира. Они оба там действительны были.

Якобы писатели были поселены в один номер, и вскоре разговорились о литературе. Шолохов стал объяснять, как Леонову стоило писать Митьку Векшина. Леонов в ответ начал говорить, каким он сделал бы Григория Мелехова.

В итоге писатели разругались вдрызг, и Шолохов потребовал его отселить. Что и было сделано.

Когда у Леонова, спустя добрые сорок лет, спросили, было ли такое, он ответил равнодушно:

– Не помню.

Хотя вряд ли бы он это забыл.

Отсчёт главенства Шолохова и Леонова в советской литературе идёт со времени выборов в Верховный Совет 1946 года; но окончательно их совместное положение было закреплено в год полувекового юбилея революции – в 1967-м.

В феврале того года Леонову было присвоено звание Героя Социалистического труда. Шолохов получил это звание раньше, в 1960-м; тогда же ему была вручена и Ленинская премия – он стал вторым её лауреатом после Леонова.

А в мае 1967 года состоялось торжественное вручение Леониду Леонову и Михаилу Шолохову орденов Ленина и золотых медалей “Серп и молот”. Так власть продемонстрировала литературным элитам и общественности в целом, кто у нас тут самые именитые литераторы – и по старшинству, и по заслугам.

... Однако как изменились времена и нравы за сто лет, заметим мы. Едва ли кто-нибудь в состоянии представить себе Толстого и Достоевского на совместной церемонии вручения им той или иной награды императором Александром II.

Имена Шолохова и Леонова связывала и весьма неоднозначная молва о том, что они являлись негласными лидерами пресловутой “русской партии”.

Ныне для одних само словосочетание “русская партия” уже является символом мракобесия; но для других существование “русской партии” являло возможность иного пути для России, не приведшего бы страну к распаду и многолетнему хаосу.

Публицист Олег Платонов в 1967 году посещал возобновившиеся встречи у Евдокии Никитиной – так называемые Никитинские субботники, где ещё в 20-е часто выступал и Леонов и о которых весьма нелицеприятно отзывался Михаил Булгаков.

Завсегдатаями посиделок в 60-е годы стали поэты Борис Слуцкий и Владимир Луговой, критик Нея Зоркая; вокруг мэтров группировалось студенчество... На одной из этих встреч, утверждает Платонов, зашёл разговор о новых черносотенцах. К ним собравшиеся безо всяких сомнений отнесли Шолохова, Леонова и автора романа “Тля” Ивана Шевцова.

Достаточно любопытная иллюстрация к литературному быту того времени!

Вопрос, однако, в том, что никакой “русской партии” как организации хоть сколько-нибудь системной никогда не существовало в природе.

Да, в 60–70-е годы литераторы, исповедующие патриотические взгляды, заняли ряд административных постов в Союзе писателей, и почти все они почитали Леонида Леонова за своего учителя и наставника. Мы говорим о Михаиле Алексееве, Юрии Бондареве, Семёне Шуртакове, Евгении Осетрове.

Да, Леонов был близок с несколькими литераторами, вовлечёнными в орбиту работы “Молодой гвардии”, – издания, где группировались наиболее ортодоксальные представители русского почвенничества. К примеру, Леонов дружил с писателем и соратником по борьбе за сохранность русского леса Владимиром Чивилихиным, издававшимся у “молодогвардейцев”.

Да, Леонов много занимался охраной памятников архитектуры – и эту работу также негласно числили по ведомству “русской партии”, считая её своеобразным прикрытием для деятельности членов организации.

Но в случае Леонова ни о каком прикрытии и речи не идёт: он действительно болел за старину.

Ещё в 1955 году Леонов деятельно занимался Кириллово-Белозерским и Феропонтовским монастырями, находящимися в запустении и разрушавшимися.

Высокий авторитет неоднократно позволял ему выступать с критикой советского чиновничества. И поныне некоторые леоновские публикации воспринимаются как беспартийно жёсткие. Процитируем, например, его статью в “Литературной России” от 30 октября 1965 года “Пока суд да дело...”: “За последнее десятилетие у нас наблюдается успешное – наряду с заповедниками природы – искоренение памятников старого русского зодчества. Для сбережения уцелевшего создан охранительный Оргкомитет, куда назначен и я. Начинается медленный, без ущерба для здоровья, разворот общественно-учредительно-краево-республиканско-заседательной деятельности... к сожалению, пока без учёта повседневных происшествий на этом действительно, в силу применения взрывчатки, фронте нашей культуры. Может случиться, ко времени организации Общества по охране охранять-то будет и нечего, так как с момента появления означенного Оргкомитета дело по ликвидации русской старины пошло вроде веселей <...>

Примечательно, что в деле разрушения русской старины принимают участие и видные деятели культуры. Вот ряд взятых наугад памятников, уже разрушенных или намеченных к срочному удалению с глаз долой.

1. Администрация Восточного музея (ул. Обуха) взорвала апсиды церкви XVII века (Илья Пророк) для постройки там одного подсобного помещения. В этом году памятнику исполнилось бы триста лет, поздравляем кого следует с юбилеем. Остальные соавторы этого варварского акта скоро будут опознаны нами по горящей на них шапке.

2. Резная деревянная церковь-игрушка XVII века в Закарпатье (село Русское поле) отдана местными властями директору школы Я. С. Яновскому, по его просьбе, на дрова – в силу ее сухой выдержанной древесины. Особенно трогательно здесь внимание администрации к нуждам деятеля народного про-

свещения. Распилку вели учащиеся средних классов, видимо, в порядке общественной работы.

3. Уже намечен перенос знаменитого Кондопожского собора XVIII века, хотя любая подвижка деревянного здания такой давности исключает его дальнейшую пригодность даже в качестве топлива. Авторы – проектировщики института “Ленпромстройпроект”.

4. Мне пишут, что предполагается ликвидация Александро-Невской лавры (Ленинград) со знаменитым кладбищем исторических деятелей и классиков мировой литературы, неизвестных также и у нас. Авторы – вдохновенные городские архитекторы гг. Каменский и Асс. Они же приступают к срочному преобразованию всего нижнего этажа по Невскому проспекту в широкоторный торговый ряд – в приблизительном стиле 5-й авеню”.

Мы специально позволили себе длинную цитату, – характеризующую, насколько широк был даже географически охват проблем, которыми занимался писатель и депутат Леонид Леонов. Остаётся лишь добавить, что если статьи, интервью, письма и депутатские запросы по природоохранной деятельности могут составить отдельный том в леоновском наследии, то ещё один сборник могут составить документы, связанные с защитой русской старины.

Из дня сегодняшнего мы должны понимать, что в 60-е годы влияние публикаций в прессе было куда более действенным, чем спустя, скажем, сорок лет; тем более, если статьи были подписаны именем всемирно известного писателя, депутата, орденоносца, а с некоторых пор ещё и Героя Социалистического Труда.

В итоге круг людей, обиженных Леоновым и даже пострадавших от его деятельности, всё более расширялся – только тем мы и можем объяснить широкую уверенность в том, что он не просто был представителем “русской партии”, но и руководил ей, наподобие героя Конан-Дойля: эдакого цепкого паука, шевелящего своею паутиною с целью навредить то видным ленинградским архитекторам (а также их непосредственному начальству), то закарпатскому директору школы (и главе администрации того района).

Мы, пожалуй, даже готовы согласиться и с такой фантазийной интерпретацией деятельности Леонова, потому что в итоге никто не тронул ни Александро-Невскую лавру, ни Успенский собор 1774 года в Кондопоге, который был со временем признан памятником деревянного зодчества, ни ещё десятки святых для всякого русского сердца мест, за которые словом и делом вступился Леонид Максимович со товарищи.

Тем не менее, последствия этой деятельности, воспринимаемой через призму всеохватного влияния “русской партии”, приносили Леонову не только моральное удовлетворение, но и отдельные неприятности.

Самый известный пример: история выдвижения Леонида Леонова в Академию наук СССР.

* * *

Органы Академии наук СССР формировались исключительно на выборной основе: редкость по советским временам. Высший орган – Общее собрание академиков и членов-корреспондентов – избирал новых членов.

По сути, Академия была элитарным и закрытым научным клубом. Членство в этом клубе гарантировало и высокий статус, и самые широкие возможности: Академия владела сетью научных учреждений, имела собственное издательство, флот для научных исследований, лаборатории и обсерватории.

Леонову, который в эти годы уже на самом серьёзном уровне занимался космологией и разрабатывал собственную теорию Вселенной, членство в Академии было необходимо далеко не для самоутверждения. Кроме того, Академия издавна давала самые широкие полномочия в деле защиты памятников старины – и это также было весьма кстати.

Академия имела четыре секции: физико-технических и математических наук, химико-технологических и биологических наук, секция наук о Земле и секция общественных наук. В последнюю, на отделение литературы, и выдвигался Леонов ещё в 1968 году.

И его не приняли.

При том, что, к примеру, в январе 1972 года Леонов был избран иностранным членом Сербской Академии наук и искусств.

Ситуация, прямо скажем, анекдотическая – и анекдот этот дурной. В то время Леонов был в числе пяти (Набоков, Солженицын, Симонов, Шолохов и он) самых переводимых в мире русских писателей: кого же ещё принимать в русскую Академию наук на отделение литературы, как ни его.

Однако недоброжелателей у Леонова среди “бессмертных” было более чем достаточно. Мало того, какая-то их часть могла аргументированно пояснить своё моральное нежелание принимать писателя в академики.

Чтобы понять первопричины подобного положения вещей, нам придётся открутить время назад и вернуться во вторую половину 40-х, когда понемногу начинала набирать обороты так называемая “борьба с космополитизмом”.

* * *

Начало кампании было связано именно с Академией наук, а именно – с делом профессора Григория Иосифовича Роскина и члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Нины Георгиевны Ключевой.

Ключева и Роскин создали препарат от рака – “КР”. Открытием заинтересовались американские учёные, пожелавшие работать над исследованиями “вместе” с советскими учёными. В ноябре 1946 года академик-секретарь АМН СССР В. В. Парин выехал в США, где передал американским ученым рукопись книги Ключевой и Роскина и ампулы с препаратом.

На этом этапе ситуация стала известна во всех подробностях Сталину, и произошедшее вызвало его, мягко говоря, недовольство. Парин был арестован и осужден на 25 лет за “измену Родине”, над Роскиным и Ключевой провели суд чести. Справедливости ради заметим, что ученые не были лишены своих научных постов и степеней и продолжили работу.

Из дня сегодняшнего очевидно, что наука зачастую лишь выигрывает при совмещении усилий учёных, но вместе с тем очевидно, что ни сегодня, ни тогда США не спешили разделить свои научные открытия с Россией.

Вскоре после дела Роскина и Ключевой появилась пьеса Константина Симонова “Чужая тень” – как раз о “низкопоклонстве перед Западом”.

В сфере культуры борьба с космополитизмом началась в мае 1947-го, когда поэт (а до 1946 года – глава СП СССР) Николай Тихонов раскритиковал книгу Исаака Нусинова “Пушкин и мировая литература”. Нусинов, по мнению Тихонова, вывел Пушкина как едва ли не эпигона западной культуры, что, конечно же, было совершенно недопустимым.

Далее последовал целый вал разоблачительных акций в исторической науке, в театре и кинематографии, в прозе и в поэзии.

Нельзя сказать, что сторона, обвиняемая в космополитизме, была безответна.

Непосредственно имени Леонида Леонова кампания коснулась во время конфликта между руководством Союза писателей и критиками из Всероссийского театрального общества.

Знаковым событием в истории конфликта стала творческая конференция московских драматургов, критиков и деятелей театра, прошедшая в Москве в последние дни ноября 1948 года. Докладчик, работник газеты “Правда” А. Борщаговский обрушился на советскую драматургию и, в частности, заявил, что Леонов, Погодин, Нилин производят слабые пьесы, лишённые “нужной интеллигентности в фактуре” и “психофизического комплекса в психологическом раскрытии героя”. Критик Ю. Юзовский, представляющий газету “Культура и жизнь”, Борщаговского всесторонне поддержал, тоже не без презрения, помянув “мужичье” творчество Леонова. Досталось, конечно же, не только Леонову, но и другим драматургам, и многим из них, на наш взгляд, поделом.

Однако высокий градус обвинений требовал и ответной реакции. Она была продемонстрирована на 12-м пленуме правления ССП, где присутствовал и Леонов.

Пленум вынес резолюцию: “В секции театральных критиков Всероссийского театрального общества и в комиссии по драматургии при Союзе писателей группируются критики, стоящие на осужденных партией позициях аполитичности искусства, отстаиваемых ими в более или менее открытой или завуалиро-

ванной форме. Менее откровенно на страницах печати и более откровенно на всевозможных совещаниях при ВТО и в Центральном доме литераторов этого рода критики (Гурвич, Юзовский, Малюгин и др.) с формалистических и эстетских позиций пытаются дискредитировать положительные явления в советской драматургии <...> Желая расшатать доверие театров к современной советской теме с позиций аполитичного искусства, они неправильно ориентируют советского зрителя и мешают развитию творческого дарования многих драматургов, обращающихся к современной теме. Среди критиков этого рода культивируется низкопоклонство перед буржуазной культурой Запада, игнорируется богатейшее наследие русской классической драматургии, существует нигилизм по отношению к значительному опыту советской драматургии <...> Часть советских театральных критиков (Борщаговский, Бояджиев, Варшавский) фактически идут на поводу у критики формалистической, эстетской”.

Партийные верха, как зачастую было и в 30-е годы, вновь смотрели за разрешением конфликта, не принимая пока позицию ни одной из сторон.

Надо помнить, что, скажем, упомянутые Борщаговский и Юзовский и многие другие критики того круга, в 40-е вовсе не являлись идеальной мишенью для битвы, но, напротив, задавали тон в центральной печати.

Фадеев, Тихонов и ряд крупных литературных деятелей в течение двух месяцев на самом высшем уровне пытались преломить конфликт в свою пользу. В иные времена их старания могли бы не увенчаться успехом, — но тут демарш Фадеева и Тихонова вполне вписался в кампанию по борьбе с космополитизмом. В конце января 1949 года “Правда” встала на их сторону, опубликовав статью “Об одной антипатриотической группе театральных критиков”.

Не стоит также упрощать ситуацию, предполагая, что последовавший разгром “безродных космополитов” из числа театральных критиков коснулся исключительно Всероссийского театрального общества.

Например, в феврале того же года на партийных заседаниях в Союзе писателей была озвучена информация не только о “заговоре” группы критиков, но и причастности к этой группе секретаря правления Союза писателей Константина Симонова и секретаря партийной организации Союза Бориса Горбатова.

Борьба с космополитизмом в сфере литературы не была однолинейна и примитивна, когда на одной стороне находятся власть и писатели, близкие к власти, а на другой — несчастные и терзаемые “космополиты”. Всё было куда сложнее.

Отчасти эта борьба схожа с разгоном РАППа и внутрилитературными процессами начала 30-х годов, когда под удары попадали те, кто совсем недавно полновластно пользовался правом бить других.

Что до Леонова, то он как не участвовал публично в борьбе с РАППом, так и во второй половине 40-х избежал кампании по борьбе с космополитизмом.

Или, положим, почти избежал. “Почти” потому, что ещё 27 сентября 1947 года в “Литературной газете” была опубликована его статья “Рассуждение о великанах”.

“Не на моём языке, — писал Леонов, — родилась поговорка: ubi bene, ibi patria — где хорошо, там и отечество, — мудрость симментальской коровы, которой безразлично, кто присосётся к её вымени, было бы тёплым стойло да сладким пойло. Для мыслящего человека нет дороже слова отчизна, обозначающего отчий дом, где он явился на свет, где услышал первое слово материнской ласки и по которому впервые пошёл ещё босыми ногами <...> Мы любим отчизну, мы сами физически сотканы из частиц её неба, полей и рек. Не оттого ли последней мечтой политических скитальцев и даже просто бродяг было — вернуть в родную землю хоть кости свои с чужбины.<...> И есть высочайшая степень патриотизма — не только для себя, но и для других... и в конечном итоге для других больше, чем для себя. Это патриотизм мудрости и старшинства: мы живём здесь, но наша родня раскидана всюду — по горизонтам пространства и по вертикалям времени. Мы — человечество. Это не вселенский космополитизм некоторых наших изысканных современников, которые в понятие родины готовы включить любую точку Галактики, где имеются конфетционы и кафе, универмаги и гостиницы с сервисом.<...> В большинстве это люди способные... в первую очередь, способные скорее преувеличить сомнительные достоинства чужих, чем примириться с временными недостатками своих”.

Под большинством утверждений этой статьи мы можем спокойно подписаться и сегодня, а сколь важно было их понимание ровно сорок лет спустя после написания... но здесь нам всё-таки придётся обратить внимание на время непосредственной публикации “Рассуждения о великанах”.

Это произошло через четыре месяца после того, как Тихонов назвал Исаака Нусинова “беспачпортным бродягой в человечестве” и положил начало “антикосмополитической” кампании, и за четыре месяца до того, как в начале февраля 1949-го Сталин подписал подготовленное Фадеевым постановление Политбюро о роспуске объединений еврейских советских писателей в Москве, Киеве и Минске.

Леоновская статья вызвала огромное количество откликов и писем в редакцию – потому что он, как никто иной, умел говорить на сложные темы без истерики и вдумчиво. Но те, кого кампания борьбы с космополитизмом коснулась напрямую, и тем более, кого она коснулась незащищенно, огульно и болезненно, – они надолго запомнили леоновский спич.

* * *

В ноябре 1972 года Леонов во второй раз был выдвинут на звание академика.

Ещё до голосования стало ясно: всё складывается так, что даже на 74 году жизни, при наличии всех мыслимых наград от Советской власти, доступ в закрытый клуб “бессмертных” Леонову всё равно не предоставят.

Ситуация усугублялась ещё и тем, что в ноябре 1972 года произошло нечто противоположное по смыслу антикосмополитической кампании. 15 ноября в “Литературной газете” была опубликована статья первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Александра Яковлева “Против антиисторизма”.

При всех неустанных полупоклонах в сторону классиков марксизма-ленинизма, Яковлев в своей статье последовательно и достаточно жёстко раскритиковал основные позиции, отстаиваемые Леоновым и людьми схожих убеждений.

Яковлев писал о неприемлемости “нигилистического отношения к интеллигенции” и “воинствующей апологетике крестьянской патриархальности в противовес городской культуре”, – имея в виду, в первую очередь, почвенно-патриотическое направление в литературе.

Само имя Леонова Яковлевым не называлось, но главный удар публикации был направлен на человека из ближайшего окружения писателя – критика Михаила Лобанова, дебютировавшего, как мы помним, с отдельной книгой о “Русском лесе”.

Яковлев саркастично пишет, что в новых книгах Лобанова “мы сталкиваемся с давно набившими оскомину рассуждениями “о загадке России”, о “тяжелом кресте национального самосознания”, о “тайне народа, его безмолвной мудрости”, “зове природной цельности” и в противовес этому – о “разлагателях национального духа”.

“Если верить М. Лобанову, – продолжает, цитируя критика, Яковлев, – современную литературу наши потомки будут судить по глубине отношения к судьбе русской деревни... Истинные ценности, прежде всего нравственные, всегда дождутся своего времени. И хорошо, что наша деревенская литература все более насыщается этими ценностями, которые излучаются из недр крестьянской жизни”.

Подобное же мировосприятие по-своему выражено в книге стихов “Посиделки” В. Яковченко: “О Русь! Люблю твою седую старину... Вон позабытый старый храм над колокольной поднял крест, как руку, как будто ждет условленного звука и жадно смотрит в очи небесам. Ах, старый, старый, позабытый храм...”

А пока один тоскует по храмам и крестам, другой заливается плачем по лошадям, третий голосит по петухам”, – саркастично подытоживает Яковлев, явно давая понять, что ценность всего вышеперечисленного ему откровенно не ясна.

“Мотивы “неопочвенничества” не так уж безобидны, как может показаться при поверхностном размышлении, – утверждает Яковлев. – Если внимательно

вглядеться в нашу жизнь, проанализировать динамику социально-экономических и нравственно-психологических сдвигов в обществе, то неизбежным будет вывод: общественное развитие отнюдь не стерло и не могло стереть четких граней, разделяющих национальное и националистическое, патриотическое и шовинистическое”.

По сути, статья стала прямым обвинением писателей почвеннического направления в национализме и шовинизме.

Леонов вспоминает, что сразу после публикации в “Литературной газете” Леонов позвонил ему и поддержал его – вслух фамилию Яковлева, естественно, не называя: телефонный всё-таки разговор, незачем это...

Справедливости ради добавим, что своеобразный манифест первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС не получил в 1972 году столь бурного продолжения, как борьба с космополитизмом в 1947; и уже в 1973 году Яковлев был переведён на другую работу, став послом СССР в Канаде.

Однако в ноябре 1972 года никто такого варианта развития событий ещё не предполагал, в том числе и в АН СССР; но, напротив, ждали совсем другого поворота в государственной идеологии. Условно его можно определить как либерально-западнический.

Эта предгрозовая атмосфера лишь усиливала позиции того круга “бессмертных”, что не желали видеть Леонова в составе Академии.

* * *

Академик-секретарь отделения литературы и языка АН СССР Михаил Храпченко убеждал близкого к Леонову литературоведа Александра Овчаренко, что писателя надо отговорить баллотироваться.

Если верить воспоминаниям Овчаренко, Борис Храпченко объяснял свою позицию предельно внятно:

– Нет никаких гарантий, пойми! Ты же знаешь состав нашей Академии... Провалят его, он может не перенести удара, а виновны будем мы.

Но 18 ноября, через три дня после публикации статьи Яковлева, документы от Леонова поступили в АН СССР.

Один из академиков Отделения литературоведения, директор Института мировой литературы Борис Сучков говорил в те дни, что Леонова всё равно провалят. “И Овчаренко это знает!” – ругался Сучков.

В день голосования по Леонову в Академии наук неожиданно появляется Михаил Шолохов. Он-то, любимец Сталина, был принят в АН СССР ещё в 1939 году, в возрасте 34-х лет! Когда Леонов и думать не мог про такие почести...

Шолохов пришёл не заседание впервые за много десятилетий. По словам литературоведа Валентина Осипова, близко знавшего Шолохова, был он в тот день “большой, белый весь, бледный”.

Одним своим присутствием Шолохов надавил на, как сам Михаил Александрович выразился, “ё....” академию.

Отказать Нобелевскому лауреату “бессмертные” не смогли.

В последние дни ноября 1972 года, спустя две недели после публикации Александра Яковлева в “Литературной газете”, Леонов наконец стал действительным членом Академии наук по специальности “Литературоведение”.

...Но когда Леонову говорили, и неоднократно, что его поддержал Шолохов, Леонов долгое время с непроницаемым лицом отвечал:

– Знаете... я не верю.

Признаться, мы не очень понимаем, отчего он не верил. Потому ли, что вообще мало верил в человеческую доброту и взаимопомощь?

Но это не так: он сам не раз помогал писателям и ходатайствовал за многих.

Знал и о том, что Шолохов тоже многократно протягивал руку собратям по ремеслу в трудную для них минуту.

Скорей, мы склонны предполагать, что та, шумная и не сложившаяся в дружбу, но, напротив, обрушившая её возможность, встреча Леонова и Шолохова в Польше после войны всё-таки имела место. И убедила Леонова в том, что они – несовместимы.

А ведь Шолохов вспоминал о нём очень часто.

Валентин Осипов пишет в дневнике за 1977 год: “Навещаю Шолохова в больнице. Совсем плох: глаза тусклы, движения замедленны, говорит с трудом. Однако обманывает внешний вид: как только устроился в кресле и дымнул сигаретой, так завязался долгий разговор. Один из узелков в этом разговоре — “Как там Леонов?”

И так — всякий раз.

Запись в дневнике год спустя: “Рассказываю, что издательство “Художественная литература” затевает “Библиотеку классики” — миллионными тиражами. У него сразу же вопросы: “Советские будут? <...> А Леонов?”

Ещё одна запись: “... заинтересованно, хотя никогда не были друзьями, расспрашивал о Леонове, о том, в частности, пишет ли, работает ли? Задумчиво — так запомнилось — воспринял мой рассказ, что Леонов в каждый том своего переиздаваемого собрания сочинений вносит значительнейшие поправки и вставки”.

То, что, безусловно, связывало их — истинная боль о России. Едва ли хоть один из них видел себя хранителем и пастырем своей страны, но с годами, чувствуя приближение неминуемой смерти, они становились всё более внимательны — хоть и с дальних расстояний — друг к другу.

Как сказал однажды Леонов с горькой усмешкой: “... по мере обрастания окладистой бородой я стал с особо тревожной приглядкой производить по утрам перекличку ближайших моих современников — все ли в сборе, налицо: покуда — они, дотоле и я”.

В предчувствии ухода Шолохова Леонов мог особенно остро ощутить своё одиночество. Это ж сколько случилось поколенческих смен на его веку! Сначала ушли поэтические корифеи Серебряного века, чьи стихи почитал всем сердцем — Блок, Брюсов. Следом те, кто был немногим старше самого Леонова: Есенин, Фурманов. Прорядили в 30-е тех, с кем работал бок о бок: Буданцев, Ясенский. Был целый ряд литераторов, погибших в войну, как Афиногенов, или не доживших до её конца, как Алексей Толстой. Неожиданно рано в послевоенные годы ушли те, с кем связывали сложные отношения: Фадеев, Пастернак, Всеволод Иванов. Не осталось тех, с кем был рождён в один год, о чём Леонов безусловно знал: Платонова, жившего в России, и Набокова, жившего вне её. И поспешно начало уходить поколение тех, кого совсем вблизи наблюдал добрые полвека: Константин Федин, Константин Симонов... Не говоря о родившихся, когда Леонов уже держал перо в руках, — и на его же глазах перегоревших несказанно скоро: тот же Фёдор Абрамов, тот же Василий Шукшин, — за обоими он пристально смотрел... А всего — сотни и сотни имён! Тех, кому жал руку, тех, кого видел...

В январе 84-го через Осипова Леонов передал Шолохову приветы неожиданно сердечные, тёплые, слёзные.

Шолохов ответил уже через силу: “Как... он... там?... Спасибо... ему... доброе...”

Ему оставалось жить 11 дней.

Сразу после известия о смерти Шолохова Леонов позвонил в редакцию “Известий”, надиктовал слово прощания:

— Вместе с миллионами... скорблю... Шолохов подарил стране самую замечательную книгу нашей эпохи.

“Самую замечательную” — это, значит, выше всех иных. Леонов больше ни о ком никогда так не говорил.

После ухода Шолохова он остался наедине с грядущей на Россию смутой и со своею “Пирамидой”.

Вровень с ним уже не стоял никто.